

«К сожалению, у многих русских постоянным тормозом остается чрезмерная любовь ко всему отечественному, выдвигание его на первое место, выше истины. Эти две силы будут бороться друг с другом – глубина русской души и сковывающее ее самолюбование».

Польский писатель, лауреат
Нобелевской премии

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

прожил почти весь прошлый век.
Его судьба тесно переплелась
с Россией и русскими. Об этом
с писателем беседует корреспондент
журнала «Новая Польша» Сильвия
Фролов

НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

МОСК. НОВОСТЫ. — 2003 — 26 мая — С. 19

— Как относились к России в
вашей семье?

— Многие поколения нашей семьи жили в Великом Княжестве Литовском. Дома говорили по-польски. Отец окончил русскую гимназию в Вильно, где по-польски говорить не разрешалось, поэтому он очень хорошо знал русскую литературу. В Рижском политехническом отце изучал инженерное дело и первую должность получил в Красноярске. Во время Первой мировой войны он был мобилизован в царскую армию сапером. Мы с матерью ездили за ним повсюду, где он строил мосты. Когда случилась революция, мне было шесть лет и мы жили во Ржеве на Волге. До сих пор хорошо помню некоторые сцены времен войны и революции.

С раннего детства я говорил по-русски, не отдавая себе отчета в том, что перехожу с одного языка на другой. У нас в доме в Вильно нередко переходили на русский ради шутки. Чаще всего мой отец с друзьями зачитывали фрагменты из книг, например, описание ссоры двух сановников у Щедрина: «И ругались так ужасно, что восторженные босяки ежеминутно кричали ура!»

Со времени вступления российских войск на территорию Великого Княжества Литовского к русским относились как к захватчикам.

— Дмитрий Мережковский сказал одному из ваших друзей, что «Россия очень женственна, но у нее никогда не было мужа. Ее насиловали татары, цари, большевики. Единственным мужем для России могла бы быть Польша. Но Польша была слишком слабой».

— Если позволите, я приведу пример из собственной родословной. Мой дед Дмитрий, женившись, вошел в круг типично краковской семьи, а следует помнить, что Краков был городом, о котором молодой Жеромский писал: «Ругать Россию значит обрести тут величие и патент на звание гражданина». Мой дед с его типично российским имперским образом мыслей был там словно разъяренный бульдог в стае кусающихся пуделей.

— Не считаете ли вы, что трагедией в отношениях России и Польши всегда была их слишком далеко зашедшая близость, тогда как связь между ними должна была быть формальным контрактом о сожительстве, открытым для участия третьих лиц.

— Мне кажется, что слова Мережковского мы должны рассматривать скорее как шутку. В польско-российских конфликтах огромную роль сыграло разделение на православие и католичество. Когда в Смутное время польские войска вошли в Москву, шла речь о том, что польский королевич мог бы стать царем, но при этом принять православие, на что польский король не согласился.

А что касается формального контракта, с трудом себе это представляю. После Венского конгресса 1814–1815 годов и раздела Варшавского герцогства между Россией, Пруссией и Австрией российский император стал царем польским. Парадокс в том, что в то время в Польше был парламентский

строй, как известно, не выдержавший испытания временем.

— В московском журнале «Наш современник» появилась статья его главного редактора Станислава Куняева «Шляхта и мы». Это самая обширная публикация о польско-российских отношениях после 1991 года. Шовинизм в статье доведен до предела помешательства, но это вовсе не значит, что поляки должны толковать ее исключительно как клинический случай. Вы сами нередко пишете о презрении, отвращении, вплоть до ненависти, которыми одаривают друг друга русские и поляки. Статья Куняева — не доказательство ли того, насколько короток путь от обыкновенного невежества до презрения? После этого можно уже внушать читателям любую чепуху.

— Это вопрос исторических знаний, которые у молодого поколения весьма сомнительны. Вопрос в том, чтобы как можно объективнее освещать историю взаимоотношений отдельных стран. Ближайший пример — польско-украинские отношения, отмеченные убийствами и другими преступлениями. Чтобы жить в согласии друг с другом, молодежь должна иметь перед глазами беспристрастную картину, свободную от национализма. Что же до статьи Куняева... Есть один непреложный факт: Россия была больше, а Польша — меньше. Когда говорят, что во всех преступлениях повинен кролик, нужно относиться к этому скептически... На варшавском диалекте есть анекдот, как собака набросилась на кролика. В скандале обвинили хозяина собаки, но он отнекивался: «Кролик первый начал!»

Объективность тесно связана с чувством ответственности. Каждое обвинение, брошенное в адрес другой страны, немедленно порождает опасную реакцию: глупцы его подхватывают, используя вместо аргумента палку.

— Вы упрекаете польскую литературу в том, что она последовательно обходит стороной проблему зла, прочно укоренившуюся в русской литературе. Не удивительны ли столь крайние подходы к проблеме в литературах двух соседних народов?

— Читая лекции о Достоевском, я искал причины увлеченности злом в русской литературе. И увидел определенные, очень старые, времен начала православия, связи с ересями — например, с болгарской ересью богомилов или манихейцев, которые считали мир, материю поглощением зла. Предполагаю, что это могло просочиться в раннее православие. Увлеченность злом — великая сила русской литературы, которая описывала действительность реалистически, а не приукрашивала ее.

В Польше было иначе, и я усматриваю здесь влияние католичества. Не будем забывать, что два самых больших христианских праздника — Рождество и Пасха — для каждой страны значимы по-своему. В Польше самый большой праздник — Рождество, рождение невинного Младенца, который спасет мир. В России самый великий праздник — Пасха, или воскресение Человека,



1980 год. Милошу присуждена
Нобелевская премия. Первое общение
с прессой — через дверную щель

который встает из гроба и возвращается к новой жизни. Это ключ к совершенно иному подходу в понимании мира. Польскую литературу отличает некоторая детскость, она пытается показать, что мир в принципе добр...

— Многие поляки считают, что русская литература самая значительная в мире. Не является ли причиной этого восхищения как раз та проблема зла, которой в польской литературе нет?

— Думаю, что причины этого восхищения различны. XIX век был веком романа во всей Европе, но Россия создала великий роман. Лично я пережил знакомство с русской литературой, читая в Америке лекции о Достоевском. Из русских писателей я преподавал только его, потому что только он меня интересовал.

— Как вы объясняете столь большой интерес к Достоевскому в Польше, зная отношение писателя к польскому народу?

— Чувства поляков довольно амбивалентны, хотя бы по отношению к русскому языку. В сущности, поляки любят этот язык. Я сам чрезвычайно восприимчив к русскому. В США я чувствовал себя странно, если не сказать забавно, как поляк и католик, преподающий Достоевского по-английски и толкующий его антипольское почти что умопомешательство. Достаточно почитать «Братьев Карамазовых».

Достоевский отбывал каторгу в Омске, где его товарищами были поляки, посланные за участие в некоем христианско-коммунистическом заговоре 1840-х годов. О том времени остались свидетельства и Достоевско-

го, и поляков. Они удивлялись, как русский революционер может быть таким империалистом. Он же относился к ним с известной симпатией — это были интеллигенты, с которыми он мог говорить по-французски. Остальные узники представляли простое крестьянство, уголовников. Обращение Достоевского в национализм произошло как раз после бесед с поляками. Простые крестьяне, убивавшие топором, говорили: мы виноваты, нам дано по заслугам. А поляки считали себя невинными, они были политическими заключенными и не признавали власти царя, что приводило Достоевского в ярость. Это очень интересная история — столкновение столь крайних позиций.

— В вашей «Родимой Европе» огромное впечатление производит описание сцены, очевидцем которой вы были. В январе 1945 года среди русских солдат, которых вы называете «законными преемниками тех самых даров, откуда черпали Достоевский и Толстой», оказался немецкий военнопленный. Один из солдат стащил сонного немца с лавки, вышел вместе с ним и спустя несколько минут вернулся, волоча белый немецкий полубок. Поражает невероятное спокойствие убийцы: плох не он, а мир, в котором ему довелось жить. Не так ли выглядит зло по-русски?

— До сих пор у меня перед глазами лицо этого молодого немца, я помню, с какой доброжелательностью к нему относились солдаты, зная, что сейчас его убьют. На линии фронта что было с ним делать? Пленных убивали и на Западе, но я бы сказал, что там не испытывали к ним сочувствия, сперва накачивались гневом или ненавистью. Злом и страданием, которые я пережил, нельзя так просто пренебречь.

— В Америке вы подружились с вашим коллегой по Нобелевской премии Иосифом Бродским. В «Годе охотника» вы упоминаете о его высокомерии. В чем оно проявлялось?

— Я этого не чувствовал, он был моим верным другом, но другим доставалось. Быть может, в этом сказывалось отношение русского к иностранцам. Бродский был глубоко русским патриотом, но и немного империалистом.

— Вы переводили его стихи, он переводил ваши произведения. Случались ли между вами конфликты?

— Никогда. Бродский перевел намного больше моих вещей, чем я его. Признаюсь, что русскую метрику я всегда воспринимал как опасную для себя. Русский — язык с сильным ямбическим метром. Если русское стихотворение переводить на польский, сохраняя этот размер, получается искусственно. Польское стихосложение основано на совсем иных принципах.

— Глубина русской литературы

всегда казалась вам подозрительной. «Что с глубиной, если она достается слишком дорогой ценой?»

— Бердяев, анализируя образ Ивана Карамазова, сказал: «Ложная чувствительность». Карамазов возвращает билет из-за единственной слезы ребенка, но позволяет себе лгать в другом. Полагаю, что в этом большая опасность для России и русской литературы. Плачут над человеком, но по отношению к другим народам готовы к жестокостям, представляя это как нечто благородное, доброе. В такой «глубине» и есть опасность «ложной чувствительности». Мы много говорили о русской литературе с Иосифом Бродским; он одной ее черты не любил — толстовства родом из Руссо.

— На мой взгляд, о России вы пишете с пониманием, какое редко встретишь у польских писателей. Но в то же время у вас чувствуется известная недосказанность, вы никогда не ставите окончательный диагноз.

— Это правда. Исповедуясь в своих опасениях и ушибах, я неохотно высказываюсь откровенно. Существует нечто вроде ответственности писателя.

— С 1991 года я стала верить в Россию, хотя понять не могла, почему в отделениях милиции все еще висят портреты Дзержинского. Теперь, после трагедии на Дубровке, поняла, что должна учиться России сызнова. «Жечпосполита» писала, что в течение двух ближайших поколений эта страна не научится демократии, но в культурном плане может вновь, как и прежде, явить миру могущество духа.

— Я следил за русской мыслью, читая не только художественную литературу, но и Соловьева, Бердяева, Шестова, и вижу там огромный потенциал, который должен рано или поздно заявить о себе. К сожалению, у многих русских постоянным тормозом остается чрезмерная любовь ко всему отечественному, выдвигание его на первое место, выше истины. Эти две силы будут бороться друг с другом — глубина русской души и сковывающее ее самолюбование.

— А разве перед Россией не встают сегодня те же проблемы, что и в Польше? Трансформация системы — это гигантский хаос, а творческая мысль требует стабилизации. В XIX веке был царский режим, но он гарантировал ощущение устойчивости.

— Я думаю, что причины глубже, чем чисто политические. Хаос переживает весь мир — это духовный кризис во всем, засилье массовой культуры, производимой в Голливуде. Мы являемся свидетелями событий, в глубоких последствиях которых еще не отдаем себе отчета. Быть может, такие парадоксальные и жуткие произведения, как «Москва — Петушки», показывают нам один из способов подхода к современному миру.